

Пророки и лжепророки

Один из парадоксов русской истории – разрыв между бедностью фольклора восточных славян и богатством взлетов русской культуры. Об этом писали мыслители серебряного века и снова пишет игумен о.Вениамин Новик. Мимоходом процитировав Шпенглера[1], он много раз ссылается на Г.П.Федотова: «Небо и небеса редко упоминаются русским славянином с глубокой теплотой, ужасом или романтическим влечением. Он сосредоточил все свои религиозные чувства на земле».

«Сущность русской религии – божественное материнство. Мария – это не только Мать Божия, это вселенская мать, мать всего человечества. Национальным источником, воспитавшим религию Богоматери, было русское язычество. Греческое православное христианство не содержит достаточных оснований для тех глубоких и богатых форм почитания Божественного материнства, которые развились на русской почве».

Подводя итоги, о.Вениамин пишет: «славянская языческая религиозность связана с мистикой земных стихий: особенно с землей и водой, которые находятся в постоянном коловращении. Эта женственная по своей природе мистика не уравновешена небесной (мужской) мистикой света и разума. Солнце и звезды в языческой мифологии играют подчиненную роль, мистический натурализм типологически связан с пантеизмом и с характерным для него синкретизмом (всесмешением). В этической сфере это приводит к недостаточному различению добра и зла...» В этом месте я не могу не задуматься. Точно ли у восточных славян никогда не было ясного различения добра и зла? Не было ли потери чего-то, бывшего во всей индоевропейской традиции? Из каких глубин дошел до нас былинный запев: «высота ль высота, поднебесная»? Что заставило восточных славян склонить голову к земле?

Во всяком случае, «недостаточное различение добра и зла» имеет, по-моему, свои корни в истории и в географии русской земли. Россия не была защищена Гималаями, как Тибет, – и не могла сосредоточиться на духовных учениях, принесенных из соседних великих цивилизаций. Соседи Руси (если вынести за скобки далекую Византию) приходили скорее с мечом, чем с сокровищами своей культуры. С этой точки зрения восточноевропейский перекресток был скорее опасным, чем плодотворным для развития. На Русь нападали с Востока, Юга и Запада, и центральной фигурой становился деспот, создававший силу против силы. Говоря языком Евгения Шварца, защитником от драконов становился свой дракон, более сильный, чем чужие. И граждане сказочного города Шварца любили своего дракона, кормили дракошу-спасителя своими детками и окружали его память венцом сказаний. Этим венцом был награжден Иван Грозный, Петр Великий... Проханов[2] уверенно завершает эту линию фигурой Иосифа Сталина. А сколько при Сталине сидело в лагерях – 1/7 или 1/3 – это ему все равно. Служа Великой Руси, свои драконы загоняли ее духовную культуру в угол и топтали, как угодно, нравственное чувство...

На могилы драконов–спасителей ложится и память о победах 43–45 гг.; а то, что творилось летом 41 и 42 года, отодвигается в тень. Лес рубят – щепки летят. Россия велика, и сами поражения Сталина и его армий создали растянутый фронт, который Гитлер наспех заполнил румынами, итальянцами, – и по этим ахиллесовым пяткам прошли наши потрепанные ополченские дивизии, учась шагать по войне, очертя голову, лицом к смерти, – от победы к победе. Как повторяла тогда газета «За родину», в которой я служил, – «немцы нас научат воевать, а мы их отучим».

В 1956 г., сразу после XX съезда, я работал учителем в станице Шкуринской. И нарушая ход урока, волнуясь, Гриша Ерешко спросил меня: присвоят ли Жукову звание генералиссимуса? Память о войне требовала имени победителя, и на пустое место потихоньку вползала старая тень. Мы отдали ей свои победы, и она их нам не отдает.

В этой линии драконов-спасителей есть, пожалуй, одна противоречивая фигура, один герой, воспетый Пушкиным. Приезжая в Питер, я всегда приходил поздороваться с Медным всадником, и сердце вздрагивало. Но «Утро стрелецкой казни» тоже там засело. И у Ахматовой есть строки, сталкивающиеся друг с другом:

...Буду я, как стрелецкие женки
Под Кремлевскими стенами выть...
А наперекор этим стихам – другие:
В Кремле не можно жить. Преображенец прав[3]
Там древней ярости еще кишат микробы:
Бориса дикий страх, всех Иоаннов злобы
И самозванца спесь взамен народных прав.

Я думаю, что самым тяжелым наследием Петра был разрыв между русскими европейцами и темной полуобразованностью. Бердяев описал Октябрьскую революцию как выход на подмости фигур из подворотни русской литературы: Хлестаковых, Ноздревых, Смердяковых. Эта волна смывала подлинное просвещение, начавшееся с указа о вольности дворянства и стихов Пушкина. И окончательная оценка Петра зависит от того, найдем ли мы опору в духе русской литературы, а о войне будем ли мы когда-нибудь писать правду? И тогда размытость границ между добром и злом исчезнет и воцарится нравственная ясность.

Пока что литературу, завоевавшую признание всего мира, на родине знают плохо. А иконопись XIV–XV вв. и образованному человеку трудно понять. «На Руси богословствовали в красках», – вспоминает о Вениамин оценку Трубецкого. Но икона – только один из столпов культуры и на этом одном столбе нельзя выстроить устойчивую традицию. Недаром Древнюю Русь называли «немой культурой», великой в красках и ничтожной в слове. «Убожество интеллектуальной культуры Древней Руси поразительно», – продолжает Вениамин Новик. «В течение семи столетий (до XVII в.) мы не находим ни следа научной мысли...»

Здесь снова хочется понять, почему? Я думаю – из-за лени учителей Руси, византийцев. Кирилл и Мефодий перевели только Библию. Святоотеческие писания, то есть всё, что можно назвать православной мыслью, они не переводили. «Добротолубие» сделал доступным России Паисий Величковский, выходец из Молдавии, в XVIII веке. Тогда образованные люди читали другое: Вольтера, Дидро, Руссо. Перевод Величковского повис в пустоте. Только западная романтика подтолкнула расцвет русской мысли, в том числе славянофильской. Славянофилы пришли к истокам православия через Шеллинга, либералы учились у Гегеля, радикалы – в Фейербаха. То, что мировая русская мысль началась только с Владимира Соловьева – грех византийцев, не потрудившихся внедрить, вместе с крещением, свой язык, так, как католическая церковь с железным упорством вбивала латынь в немецкие и польские головы, сооружая мост от Аристотеля к Аквинату. Из-за своей лени византийская цивилизация так бездарно развалилась, несмотря на прекрасные иконы. Субглобальные цивилизации, дожившие до наших дней, опираются на три точки: единое святое писание (или родственную группу писаний – в Индии и Китае); единый язык писания, ставший общим языком образованности; наконец, третье: единый шрифт. Граница Запада – латиница, граница мира ислама – арабский шрифт, граница Индии со всеми ее маргиналами – шрифты деванагари и пали, граница Дальнего Востока – китайские иероглифы, приспособленные и к корейскому, и к японскому языку.

Маргиналы недостроенного византийского культурного круга не могли его продолжать, у них не было общего языка и шрифта, им оставалось поодиночке примыкать к христианскому Западу и через западную ученость познавать собственные корни. Тем более волшебна и чудесна русская икона XIV–XV вв., достигшая вершин религиозного искусства без всякого знания византийского Логоса. Что касается недостатка рефлексии, то уровень рефлексии у героев Достоевского и Толстого достаточно высок и остается пожелать, чтобы школа стала мостом между подлинно

образованным меньшинством и массой полуобразованности, склонной к «всесмешению», к неспособности отличить добро от зла и к культуре очередного дракона– спасителя. Здесь хочется процитировать несколько строк из разговора Версилова со своим сыном, в романе «Подросток»:

«У нас создался веками какой-то еще нигде не виданный высший культурный тип, которого нет в целом мире... Нас, может быть, всего тысяча человек – может, более, может, менее, – но вся Россия жила лишь пока для того, чтобы произвести эту тысячу. Скажут – мало, вознегодуют, что на тысячу человек истрчено столько веков и столько миллионов народу. По-моему, не мало... Один лишь русский, даже в наше время, то есть гораздо еще раньше, чем будет подведен всеобщий итог, получил уже способность становиться наиболее русским именно лишь тогда, когда он наиболее европеец. Это и есть самое существенное национальное различие наше от всех, и у нас на этот счет – как нигде...» Вот традиция, к которой надо примкнуть.

Привычка жить на перекрестке культур, связывать вместе византийский чин, степную волю и деспотизм соседних азиатских держав дала толчок русскому гению творить из разнородного – единство, пережить Европу в целом, преодолеть разногласия и враждебную отчужденность европейских наций. В романе Достоевского переплетаются французские, немецкие, английские отголоски. Замысел «Идиота» сложился после чтения трагедии Кальдерона «Жизнь есть сон». И на всю структуру великих романов наложил отпечаток незавершенный замысел Гоголя издать русскую «Божественную комедию». Достоевский этот замысел воплотил в жизнь.

Роман Достоевского сплетает вместе логически несовместимое. Но среднему человеку эта разногласия невыносима. Он прячется от нее в какую-то одну отвлеченную идею – или чувствует, как разногласия разрывает его на части. Об этом говорит герой «Игрока»: «Я, пожалуй, и достойный человек, а поставить себя с достоинством не умею. Вы понимаете, что так может быть? Да все русские таковы, а знаете, почему: потому что русские слишком богато и многосторонне одарены (я бы добавил – одарены противоположными идеями – Г.П.), чтоб скоро приискать себе пристойную форму. Тут все дело в форме. Большею частью мы, русские, так богато одарены, что для приличной формы нам нужна гениальность. Ну, а гениальности всего чаще не бывает, потому что она и вообще редко бывает. Это только у французов и, пожалуй, у некоторых других европейцев так хорошо определилась форма, что можно глядеть с чрезвычайным достоинством и быть самым недостойным человеком. От того так много форма у них и значит».

Слово «форма» повторяется здесь пять раз. Устойчивая форма трудно дается на перекрестке цивилизаций, на перекрестке самодовлеющих культурных кругов. Фундаментально эту задачу решил только Тибет, отгороженный горами от внешнеполитических забот. В России задача решалась «тысячью», не успевавшей донести свое открытие до народа. Нация в европейском смысле слова здесь не имела возможности сложиться. Российская империя развивалась быстрее, чем русская нация, и когда империя рухнула, русские стали сами себя спрашивать: кто мы? Так называется телевизионная передача Разумовского...

Синявский находил, что «Религия святого духа как-то отвечает нашим национальным физиономическим чертам – природной бесформенности (которую со стороны ошибочно принимают за дикость или молодость нации), текучести, аморфности, готовности войти в любую форму (придите и владейте нами), нашим пороком или талантом мыслить и жить артистически при неумении налаживать повседневную жизнь как что-то вполне серьезное... В этом смысле Россия – самая благоприятная почва для опыта и фантазии художника, хотя его жизненная судьба бывает подчас ужасна.

От духа – мы чутки ко всяким идейным влияниям, настолько, что в какой-то момент теряем язык и лицо и становимся немцами, французами, евреями и, опомнившись, из духовного плена бросаемся в противоположную крайность, закостеневаем в подозрительности и низколобой вражде ко всему иноземному. Слово – не воробей, вылетит – не поймаешь. Слово для нас настолько весомо

(духовно), что заключает в себе материальную силу, требуя охраны, цензуры. Мы – консерваторы, потому что мы нигилисты, и одно оборачивается другим и замещает другое в истории. Но все это от того, что Дух веет, где хочет, и чтобы нас не сдуло, мы, едва отлетит он, застываем коростой обряда, льдом формализма, буквой указа, стандарта. Мы держимся за форму, потому что нам не хватает формы, пожалуй, это единственное, чего нам не хватает, у нас не было и не может быть иерархии или структуры (для этого мы слишком духовны), мы свободно циркулируем из нигилизма в консерватизм и обратно». Я думаю, что Синявский имел в виду недостаток внутренней, духовной структуры, внутренней формы, ценностей незыблемой скалы, вошедшей в плоть и кровь. Михаил Булгаков запечатлел тип полуобразованности в повести «Собачье сердце». Шарик становится человеком, но человек этот еще ждет, чтобы его очеловечили.

Сегодня в России, как и во времена моей юности, я чувствую две задачи: пройти путь от поверхности в глубину, собрать себя как личность; восстановить версильскую «тысячу» и строить мост между этой «тысячью» (или хоть сотней) и массой, доводить массу до какого-то минимума внутренней стройности и устойчивости. К сожалению, вторая задача сегодня стала труднее, чем казалась семьдесят лет тому назад. Национальное и вселенское еще больше оторвались друг от друга. Опыт «Вех» был выброшен за борт. Национальное допускалось как воплощение единого вселенского духа только для «угнетенных наций», у пасынков бывшей Российской империи. Русским полагался интернационализм, прошедший через казенный сепаратор и очищенный от всех национальных примет. Русское национальное чувство сближалось с великодержавным шовинизмом. Слово «Родина» попадало под запрет: оно вызывало старорежимные ассоциации. В 1932 г. мы в школе заучивали наизусть слова Сталина: «история России состояла, между прочим, в том, что ее били...» Дальше перечислялось, кто бил и в заключение объяснялось: «отсталых бьют». Даже у меня, еврея, родившегося в Вильне, это вызывало чувство недоумения: как это вышло, что били Россию, били – и расплзлась она от Вислы до Аляски? И про Суворова что-то вспоминал, хотя историю в школе не учили, только обществоведение, т.е. саму суть истории, без подробностей. «История всех предшествующих классов была историей классовой борьбы...» Помню это до сих пор наизусть весь первый абзац «Коммунистического манифеста»...

Классовая борьба продолжалась в шестом пункте анкеты – «социальное происхождение». К примеру, мать Солженицына первой увольняли по сокращению штатов и последней брали на работу: отец ее был «экономистом» (т.е. владел «экономией»; так при царизме называлось крупное, но не помещичье хозяйство; сейчас его назвали бы крупным фермером). При этом лица свободных профессий, занимавшиеся частной практикой (врачи, адвокаты) считались трудящимися и не дискриминировались, хотя могли вести буржуазный образ жизни, нанимать кухарок, нянь и хоть бы и горничных. Но по марксистской науке кухарка не производила рыночной стоимости и хозяин не зарабатывал на ее труде, а стало быть не был эксплуататором, не был классово чужд. Двенадцатилетнему Сане Солженицыну это трудно было понять; казалось, что у евреев какие-то особые привилегии. А он со своей матерью перебывали на грани нищеты...

В этой обстановке возник конфликт между Саней Солженицыным и адвокатскими детьми, исповавшими пролетарский интернационализм. Этот конфликт наложил отпечаток на все творчество Александра Исаевича, начиная с «Круга первого» и до «Двухсот лет вместе». Несколько раз великий писатель пытается быть объективным, но где-то непременно срывается. Психическая травма, пережитая в детстве, преследует его всю жизнь. Я пытался проследить кое-что в книге «Сны земли». Отсылаю к ней читателя.

Мне хочется здесь только подчеркнуть, что Солженицын, в иных случаях, способен был на прощение и милосердие. Госпожа Теуш, соседка Солженицыных по рязанскому периоду их жизни, показывала мне копию письма оставленной жене, Решетовской, заболевшей раком. Запомнилась одна фраза: «умирать буду с чувством бесконечной вины перед тобой». С этим письмом переданы были 100 000 долларов на лечение. Хотя брошенная жена мстила ему, сотрудничала с КГБ и напечатала целый обвинительный акт против бывшего мужа. Видимо, детские травмы устойчивее,

чем любые удары, принятые и выдержанные взрослым. Это моя единственная серьезная добавка к тому, что можно прочесть в «Дневниках» Шмемана (на сс. 183 и сл.):

«Итак, снова четыре дня с Солженицыным, вдвоем, в отрыве от людей... Какой же всё-таки остается «образ» от этих четырех дней, в которые мы расставались только на несколько часов сна!

Великий человек? В одержимости своим призванием, в полной с ним слитности – несомненно. Из него действительно исходит сила («манна»[4])... Но (вот начинается «но») за эти дни меня поразили:

- 1) Некий примитивизм сознания, это касается одинаково людей, событий, вида на природу и т.д. В сущности, он не чувствует никаких оттенков, никакой ни в чем сложности.
- 2) Непонимание людей и, может быть, даже нежелание вдумываться, вживаться в них. Распределение их по готовым категориям, утилитаризм в подходе к ним.
- 3) Отсутствие мягкости, жалости, терпения. Напротив, первый подход: недоверие, подозрительность, истолкование *inmalempartem* (с дурной стороны – Г.П.)
- 4) Невероятная самоуверенность, непогрешимость.
- 5) невероятная скрытность».

Запись очень длинная, в несколько страниц, и всё в ней важно. Ограничиваюсь несколькими строками:

«Его мировоззрение, идеология сводятся, в сущности, к двум-трем до ужаса простым убеждениям, в центре которых как самоочевидное средоточие стоит Россия. Россия есть некоторая соборная личность, некое живое целое... У нее было свое «выражение», с которого ее сбил Петр Великий... По отношению к этой идеальной России уже сам интерес к «другому» – к Западу, например, – является соблазном. Это не нужно, это «роскошь». Каждый народ («нация») живет в себе, не вмешиваясь в дела и «призвания» других народов. Таким образом, Запад России дать ничего не может, к тому же он сам глубоко болен. Но главное, чужд, чужд безнадежно, онтологически. Россия, далее, смертельно ранена марксизмом-большевизмом. Это ее расплата за интерес к Западу и утерю «русского духа». Ее исцеление в возвращении к двум китам «русского духа» – к природе как «среде» и к христианству (в которое однако не входит прощение обид. Оно прокламируется, но не выдерживается – Г.П.). На пути этого исцеления главное препятствие – «образованщина», то есть интеллигенция антиприродная и антирусская по самой своей природе, ибо порабощенная Западу и, что еще хуже, «еврейству»... Его «русскость не есть синтез, сочетание, сложный сплав всех аспектов и всех «ценностей», созданный, выношенных в России и, даже при всем своем противоречии, составляющих «Россию». Напротив, сами все эти ценности оцениваются по отношению к «русскости». Так, отвергаются во имя ее – Пастернак, Тургенев, Чехов, Мандельштам, Петербург, не говоря о всей современности: Платонов, например...» «Русскость» – как самозамыкание в жизни только собою и своим, – то есть, в итоге, самоудушение».

«Вторая “опухоль” – все возрастающий, как мне кажется, идеологизм Солженицына... Идеология – это христианство, оторвавшееся от Христа, потому она возникла и царствует именно в христианском мире. «Пророк» в Солженицыне показал это с окончательной силой. Человек в нем все больше и больше “идеологизируется”...»

Здесь впервые сказано очень важное слово – «пророк». Оно берется в кавычки, не буквально, скорее как обозначение чего-то самого глубокого – в противовес политическим страстям, личным обидам, – словом, волнам, бушующим на поверхности. Однако пророчество само по себе – свободно ли оно от страстей, даже библейское? Я выношу за скобки Мохаммеда, я беру самый чтимый христианами пример, предмет иконописи в храмах. Мне хочется разобрать этот пример, а потом уже коснуться пророков революции и нынешних контрпророков.

Долгая череда пророческих книг – уникальная особенность истории древних евреев. Она росла из судьбы народа в египетском плену, в вавилонском плену, в рассеянии. У этой религиозной традиции была и социальная цель, повторявшаяся из века в век. При всех различиях между пророками, они удерживали евреев от ассимиляции, от признания чужих богов и чужих нравов.

Эта цель была потеряна мировой религией. Для христиан слово «пророк» ушло в прошлое. Откровение св.Иоанна, по сути вещей, было пророчеством, но его так не называли. Религиозные движения Средних веков и на переломе к Новому времени можно назвать пророческими (их вдохновляло видение, озарение); но церковь сжигала Жанну д'Арк, Яна Гуса или Савонораллу. Сожгли бы и Лютера, если бы у него не нашлось покровителей. А византийцы непременно сожгли бы Мохаммеда, только руки до него не дотянулись. Зато потом мусульмане сжигали великих суфиев.

Религиозные власти действовали под давлением политической необходимости. Новый пророк слышал Бога иначе, чем старый. В свете озарения его ум создавал новые тексты – из тех понятий и образов, которые были у него в голове. Смешно представить себе Бога полиглотом, говорившим с Моисеем на иврите, а с Мохаммедом по-арабски. Или приходившим к пророку с ангелом–переводчиком, как апостол Петр проповедовал со св.Марком. Но даже если все это вообразить, – остается бесконечное многообразие вдохновений. В пророках глаголил не только Св. Дух, но и традиция. И у Христа, и у Будды были свои предшественники. Но разница между Христом и пророками в том, что Христос понимал несовершенство слова и умел жертвовать буквой во имя духа. То же делал и Будда, отсекая то, что не ложилось в слова, – не отрицая и не утверждая. А пророки были уверены, что каждое их слово – Божье. Как бы к этому ни относились их современники.

Провозглашать я стал любви
И правды чистые ученья.
В меня все ближние мои
Бросали бешено камня...

В этих стихах Лермонтова пророк прав, виноваты обвинители. Но по слову пророков древние евреи дважды подымали восстание против Рима, и дважды это кончалось национальной катастрофой. Проиграв войну, «сын звезды» оказывался лжепророком. И раввины с тех пор (и до нынешних дней) запрещали путь пророков. По моему скромному опыту, нельзя смешивать озарение со словами, родившимися в свете озарения. Озарение сжигало страх тьмы, страх разгрома и т.п., но не давало точных указаний, куда идти. О пути еще надо подумать. Сплошь и рядом озарение кружит голову и ведет в пропасть.

Этот опыт принадлежит не только древности. Он повторялся в Новое время. В спокойном течении XIX века пришли светские пророки, услышавшие отдаленные предвестия грядущих сдвигов. Они отбросили религию как старый хлам, как вздох угнетенной твари, сердце бессердечного мира, дух бездушных порядков. Они говорили: Бог умер. Этим пророков вспомнили, когда великие войны и великие кризисы выбили почву из-под ног народов – там, где устои Нового времени еще не успели окрепнуть. Растерявшиеся массы искали спасителей. Они обращались даже ко мне. Один шизофреник признал меня мессией, а когда я отклонил это – поверил в самого себя. Его отправили в клинику. В другой раз видимо нормальный человек, провожавший меня с «литературной среды», спросил: «не считаю ли я себя пророком». Я с отвращением ответил: «Нет, не считаю, и советую вам думать своим умом». Такие люди находили то, что им нужно, в Солженицыне или Гумилеве.

Россия прошла через захваченность двумя поколениями пророков. Сперва – пророками революции: Лениным, Троцким... Потом, начиная с 20-х годов, стали складываться контр-пророки, восставшие против разрушения русских традиций. Первым испробовал этот путь Лосев, но после двух тяжелых лет в лагере он смирился. Гумилев и Солженицын не смирились. Это их

общая черта, несмотря на различия интеллектуальных путей.

Солженицын был захвачен поисками того, что он называл русскостью. Выйдя из лагеря, он не захотел жить в своем родном городе, Ростове. Ростов казался ему темным, уродливым. Видимо, на город легла тень обид, перенесенных в детстве. И казалось, что русскость найдется в центре России. Об этом есть запись в дневнике Лидии Корнеевны Чуковской (Новый мир, 2008, №9). Но Рязань не удовлетворила его, и возник новый идеал, на северо-востоке. Мне кажется, очень сильный толчок дало стихотворение Волошина. Я хорошо помню потрясающее впечатление от «Северо-востока» в 1955 году. Читал Лев Копелев, читал превосходно. Видимо, он же читал Солженицыну. В уме Солженицына метафора Волошина реализовалась в проект забросить Европейскую Россию, безнадежно испакощенную, и создать убежище русскости на северо-востоке, замкнуться там от всего чужого и залечивать свои душевные раны. Сахаров, побывавший в этих краях, навещая ссыльного диссидента, удивлялся, что хорошего Солженицын там нашел. Потом возник новый план: всемирный успех «Архипелага» дал надежду направить Россию по колесу, которая будет проложена в «Красном колесе». Я мало нашел людей, прочитавших целиком этот тяжелый труд, отнявший у Солженицына много сил. Наконец, одним из воплощений его идеала стали общины старообрядцев, замкнувшихся от мира где-нибудь в тайге или в зарубежье. При этом церковных старообрядцев, активно участвовавших в развитии русской промышленности и культуры серебряного века, как-то не заметили ни он, ни Шмеман, возражавший ему.

Гумилев шел другим путем. На нарах, без книг, без возможности научной критики, он связал обрывки идей, сохранившихся в памяти, в глобальную схему этносов. Кое в чем они похожи на тюркские племена. У Гумилева есть серьезные статьи на эту тему. Он любил простодушных варваров и не любил старые гнилые цивилизации. Однажды я увидел его в коридоре Института Востоковедения и, не здороваясь, спросил: «Лев Николаевич, чем вам нравится Чингисхан?» Он еще короче ответил: «Чингисхан не любил стукачей». Мне нетрудно было перевести это на язык исторических фактов: китайская агентура плела интриги в Великой Степи, мешая племенам объединиться в одну орду и прорваться в «Страну середины».

Некоторые черты кочевых племен и их недолговечных объединений просвечивают в гумилевских этносах. Бросается в глаза и литературный талант, умение создавать красивые новые термины. Но если этносы – инвариант всемирной истории, повторяющаяся единица в потоке перемен, то куда девать христианский мир, мир ислама и другие цивилизации?

Здесь возникает трудность. Варвары не раз покорялись цивилизации, в которую вторгались. В том числе – в Индии и Китае. Попытка Гумилева разделить историю этих стран на куски по отдельным варварским вторжениям неубедительна. Единство страны сохраняет культура, носители которой могут меняться. Венгры стали носителями католической культуры, скандинавы – образцовые протестанты. Примерно то же происходило, на свой лад, и на Востоке. Китайская культура сохраняет свою цельность со времен древнейших династий, индийская – со времен вед. Никто, даже Гумилев, не делит Францию на этнос до столетней войны и после нее. Чем же обоснован раздел китайской и индийской истории на куски? Логикой построения теории этносов? Это белые нитки, без которых система теряет свою универсальность.

В развитии многих цивилизаций были сильные противотечения, были случаи неполной и даже показательной ассимиляции – при сохранении племенного духа. Один из примеров – Аннам (переименованный коммунистами во Вьетнам). Но общее движение процесса в сторону культурных кругов, объединенных религий, языком элиты и шрифтом, по-моему, нельзя отрицать. По Гумилеву всё это неустойчивые, рыхлые «суперэтносы» (вроде Советского Союза). Этносы, однако, тоже не вечны. «Из тех, кто творил великие дела две тысячи лет до нас, уцелели лишь жалкие остатки немногих» (из статьи «Этногенез и ноосфера»). Нормальный этнос живет около тысячи лет. Как же они гибнут и как возникают новые этносы?

В этом месте сказывается знакомство Гумилева с теорией Макса Вебера о возникновении и распаде религиозных и квазирелигиозных общин. Основы их закладывает «харизматический лидер» с группой своих учеников. Он чувствует призыв свыше, ученики ему верят. Затем харизма рутинизируется. Приведу сразу пример: Апостолы Петр и Павел заложили основы церкви, а дальше главой церкви, папой, становится тот, кого выберут [в пародийной форме это повторила история ЦК ВКП(б)].

Основателя традиции Гумилев называет пассионарием, захваченным своей миссией (можно вспомнить слово «мана», которую Шмеман чувствовал у Солженицина. Общась с гумилевцами, я тоже чувствовал в них его «ману»). Пассионарий вместе со своими учениками образует нечто вроде брака по любви, консорцию. Однако с течением времени консорция становится конвиксией, теряет силу сцепления и держится по инерции (так и хочется сказать: рутинизируется), и ее разрушают новые страстные консорции. Веберовская теория возникновения харизматического лидерства и рутинизации харизмы расплывается и прилагается ко всему на свете.

«Именно так зарождалось на сами холмах волчье племя квиритов, ставших римлянами, конфессиональные общины ранних христиан и мусульман, дружины викингов, оседавшие в Шотландии или Исландии, монголы XIII века, да и все, кого мы знаем...» (подчеркнуто мною – Г.П.) «Такая группа может быть разбойничьей бандой викингов, религиозной сектой мормонов, орденом тамплиеров, буддийской общиной монахов, школой импрессионистов и т.п., но общее, что можно вынести за скобки, – это подсознательное взаимовлечение» («Вестник Ленинградского университета», 1970, № 24). А я-то думал, что христиан объединяла память о Христе. И у банд викингов этой памяти и этих легенд не было. Даже «история всех предшествующих обществ» у Маркса больше похожа на науку, чем куча, в которую валятся импрессионисты вместе с батырами Чингисхана.

На Западе белые нитки теории бросились в глаза. Господин Кейюа, редактор парижского журнала «Диожен», попросил меня выбросить пару страниц, посвященные разбору идей Л.Н.Гумилева: они никому не были интересны. Почему теория этносов вызвала широкий интерес в Советском Союзе? Потому что публика почувствовала в ней запах распада советского суперэтноса, потому что стиль Гумилева был ярким и красочным – а в Прибалтике слово «этнос» стало одним из знамен национального освобождения.

Здесь Гумилев и Солженицын, шедшие разными путями, сходятся. Солженицын просто отбрасывает всю Среднюю Азию, вместе с русскими, сотню лет жившими там, – в них не хватает русскости. Пренебрежительное отношение к местным народам вызвало бурю возмущения и, несомненно, ускорило внутренний распад Советского Союза. В том же направлении действовало гордое слово «этнос». А о примере Европейского сообщества ни Солженицын, ни Гумилев не вспоминали. Современные идеи, шедшие с Запада, противоречили их доморощенным мифам. Пафосом обоих было замыкание в себе самом. Контрпророки не замечали, что советский интернационализм 20-х гг., враждебный некоторым традициям русской культуры, давно уступил место великодержавному шовинизму. Сталин повернул в его сторону еще в тридцатые годы. Он был великий хитрец, великий мастер интриг, но плохой стратег. Стратегические идеи он всегда подбирал у своих соперников, и после прихода к власти Гитлера подражал Гитлеру. Из-за проволоки трудно было разглядеть тайные распоряжения, дошедшие до меня в 1943–1944 гг. Лагерь часто замораживает сознание на том, что было на воле до ареста, и продолжает бороться с мертвым врагом. Влияние лагеря особенно сказалось в творчестве Гумилева, об этом просто и лаконично писал Аверинцев. Я отсылаю читателей к его статье, напечатанной в «Новом мире» в 2003 г., и перепечатанную в сборнике, изданном в честь Витторио Страды. В подсознании Солженицына господствовало другое: детские обиды. Я о них уже напомнил, но мне хочется дополнить сказанное еще парой заметок.

Воюя с ленинским наследством, оба контрпророка не заметили, что восстанавливают

психологическую структуру ленинизма (и сталинизма); во главе вождь, за ним бредет Панургово стадо. Оба контрпророка не заметили структуру «Вех», где для вождя не было места. Оба не поняли, что именно это – фундаментальный ответ «Вех» на вызов революционного пророчества. Не поняли, что «Вехи» – ядро сообщества мыслителей, ни один из которых не претендует на роль вождя, на роль кумира растерявшихся масс.

М.О.Гершензон, задумавший «Вехи», особо просил Бердяева, Булгакова, Струве, Франка не советовать друг с другом, не создавать общей платформы, где сотрутся личные черты и потеряны будут личные пути в глубину. «Вехи» – призыв искать ответ на вызов революции (вполне выявившийся в 1905–1967 гг.) только в собственной глубине, доверив единство незримому диалогу, возникающему над различием реплик, уходящих вглубь. «Вехи» были структурой, в которой мыслитель остается самим собой, а не членом партии, подчиненным ее программе и уставу, а в конечном счете – воле «харизматического лидера». Мы хорошо помним, к чему эти кумиры масс привели Россию (а за ней несколько других стран).

Россия переболела пророками и контрпророками; пора ей выздороветь. В структуре «Вех» заложен диагноз, к которому надо вернуться. Этот диагноз отвергло почти 99% русской интеллигенции – и сто лет платило за свою ошибку. «Вехи» пролагают дорогу глубокой, ясной и трезвой мысли. По этой дороге может идти, дополняя и углубляя свой опыт, свободная личность, переступая запреты цензуры и страха. Замечательно, что при издании «Вех» не было никакой редакции, никакого сглаживания острых углов. Пошла в печать фраза Гершензона: «Мы должны быть благодарны правительству, что оно штыками ограждает нас от ярости народной». В эти слова вцепился Ленин – и перечеркнул ею «Вехи». Но «Вехи» пережили Ленина.

Бог с ними, с пророками и контрпророками. Пусть они предаются гневу, пусть они в полемике с Лениным увековечивают ленинский стиль полемики. Новая интеллигенция начинается с понимания, что стиль спора важнее предмета спора. Предметы, волновавшие английский парламент XVIII в., давно погрузились в Лету, но стиль остался, и именно этот стиль обеспечил Англии устойчивость и гибкость общественной жизни. Пора слушать оппонента, как слушали друг друга Степун и Трубецкой за несколько лет до краха старой России. Пора понять, что целостная истина есть дух, витающий скорее в паузах диалога, в минуты молчания, чем в крике.

«Вехи» – первый подступ к собору мыслителей, подошедших к границе, где личная глубина открывает глубину, превосходящую всех нас, как лик Спаса, уцелевший на ступеньке, превосходит наше созерцание.

Это та горстка, вокруг которой может собраться новая «тысяча», наподобие той, о которой Версилье говорил своему сыну Аркадию. «Тысячи» хватило, чтобы создать великую русскую литературу, от Пушкина до Чехова. Не будем терять надежды. «Вехи» – шаг, который открывает нам дорогу к одиноким вершинам глобальной цивилизации, и вспомним: «нам внятно всё...» Откроем одиноким вершинам свое сознание. Это шаг, без которого интеллигенция никогда не возродится и не построит моста к просвещению народов.

[1] «Русские не смотрят на звезды».

[2] Выступая на международной конференции в Москве, 3 декабря 2008 г.

[3] Подчеркнуто мною. – Г.П.

[4] Волшебная сила вождя дикого племени